

ВЫЙТИ НА ЛЮБОЙ СТАНЦИИ

— КНИГА 3 —

# МЕДЛЕННЫЙ КОФЕ

Иногда, чтобы найти себя,  
нужно остановиться  
и просто смотреть.

НИКОЛАЙ ГАНЮШКИН

# **Николай Ганюшкин**

## **Медленный кофе. Том 3.**

### **Выйти на любой станции**

*<https://litres.ru/74314482>*

*SelfPub; 2026*

#### **Аннотация**

Кофе не пейте так быстро, — сказал старик у окна. — Он тогда не согревает, а только будоражит».

После тупика, в который его завели чужие маршруты, Артём учится заново — не жить, а видеть. В кофейне на углу он встречает Николая Андреевича, обычного старика, который ничего от него не хочет, кроме как посидеть за медленным чаем, — и который видит его насквозь без единого нравоучения. Там же, над пролитым кофе, входит Лиза — художница-реставратор с вечно недоотмытыми от краски руками, умеющая возвращать к жизни картины, которые триста лет считали мёртвыми.

Впервые за долгое время Артём не бежит и не прячется. Это лето света, тепла и близости. Вот только счастье опознаётся всегда задним числом — а к концу лета одна за другой начинают тихо ползти трещины.

Третья книга цикла — самая нежная и самая хрупкая: остановка, глоток тепла посреди дороги. Что, если научиться быть

счастливым получается ровно тогда, когда счастье уже начало уходить?

# Содержание

Николай Ганюшкин

5

Конец ознакомительного фрагмента.

27

# **Николай Ганюшкин**

## **Медленный кофе. Том 3.**

### **Выйти на любой станции**

**Николай Ганюшкин**

**КНИГА ТРЕТЬЯ**

**МЕДЛЕННЫЙ КОФЕ**

**Часть III. Живые люди**

**Глава 18. Кофейня на углу**

После той февральской ночи в квартире установился особый режим — режим тихой войны, которая страшнее громкой. Отец со мной не разговаривал. Не демонстративно, не хлопая дверьми — а буднично, ровно, вежливо, что было хуже всего. «Передай соль». «Спасибо». «Спокойной ночи». Мы обменивались словами, необходимыми для совместного проживания на одной жилплощади, — и ни одним сверх того. Он вычеркнул меня из разговора так же, как когда-то

вычеркнул из заявления в приёмной комиссии я вычёркивал ненужные специальности — тонкой ровной линией, без злобы, просто нет больше этого пункта. Я перестал существовать для него как собеседник. Остался как жилец.

Дома было невыносимо. И я стал уходить. Не на кольцевую — от кольцевой меня к весне уже тошнило, — а просто из дома, куда угодно, лишь бы не сидеть в квартире, где отец меня не замечает, а мать смотрит с той виноватой тревогой, будто это она во всём виновата. Я уходил по утрам, бродил по городу — не в метро, а пешком, впервые за всю жизнь начав ходить по городу пешком, без цели, но и без прежней панической бесцельности; я просто ходил, смотрел, дышал. Университет к тому времени я, можно сказать, потерял окончательно — до отчисления оставались формальности, — и странным образом эта потеря принесла облегчение: рухнуло одно из вранья, одной подпоркой меньше.

И вот в один из таких дней, в начале марта — была ещё зима по календарю, но уже с той хрупкой трещинкой в воздухе, по которой чувствуешь: скоро всё поедет, потечёт, — я забрёл в кофейню на углу. В ту самую. Где полгода назад Марк продавал мне свою лёгкую жизнь. Я зашёл туда не нарочно — просто замёрз, а она была ближайшая. Взял самый дешёвый кофе (деньги Марка почти кончились, а новых я не зарабатывал, завязав со сделками) и сел в угол, к окну.

Кофейня в будний день утром почти пустая. Пара студентов с ноутбуками, девушка с книжкой. И он.

Он сидел у окна через два столика от меня. Старик — по-настоящему старик, не «мужчина без возраста», как незнакомец в вагоне, а именно старый человек, лет за семьдесят, с белой головой, с крупными руками, лежащими на столе спокойно, как лежат руки, которые за долгую жизнь наработались и теперь заслужили покой. Перед ним стоял чай — не кофе, чай, что тоже было по-стариковски, — и он не смотрел в телефон, потому что телефона у него, кажется, и не было, не смотрел в книгу, ни в что не смотрел вообще — просто сидел и глядел в окно, на улицу, на прохожих, на мокрый мартовский свет. И было в этом его сидении что-то, чего я не видел ни у кого за весь год. Покой. Не пустой, не скучающий — наполненный. Человек сидел и смотрел в окно, и ему было хорошо, и ему было достаточно. Я, который всю жизнь не мог просто сидеть, которого пустое время душило, — я смотрел на него с завистью и с непониманием: как? Как можно вот так — сидеть, смотреть в окно, пить чай, никуда не бежать, ничего не искать, — и быть при этом наполненным?

Он поймал мой взгляд. Не отвёл — посмотрел в ответ, спокойно, с лёгким любопытством, как смотрят на молодых старики, которым уже нечего ни доказывать, ни стесняться. И вдруг сказал — негромко, через два столика:

— Кофе не пейте так быстро. Он тогда не согревает, а только будоражит. Вы его пейте медленно. Тогда он — как разговор с хорошим человеком: чем медленнее, тем теплее.

Я растерялся. Странное замечание от незнакомого стари-

ка. Но не назойливое — так, обронил и обронил, не требуя ответа, не набиваясь в собеседники. Сказал — и снова от-  
вернулся к окну.

— А если человек не хороший? — спросил я вдруг. Сам не знаю зачем. Может, потому что хотел проверить — обернётся ли, продолжит ли, или это была просто стариковская фраза в пустоту.

Он обернулся. Улыбнулся — не всем лицом, а глазами, у стариков хорошая улыбка живёт в глазах, лицо к старости устаёт улыбаться, а глаза нет.

— Так не бывает, — сказал он. — Плохих людей не бывает. Бывают несчастные. А несчастный человек, если с ним посидеть медленно, за чаем, почти всегда оказывается хорошим. Просто ему давно никто медленно не наливал.

Я не нашёлся что ответить. В этом было что-то, что я хотел бы оспорить — я же специалист по осуждению, я про всех за год вынес приговоры, — но оспорить не получалось, потому что сказано было без нравоучения, без пафоса, просто как наблюдение человека, много чего повидавшего. «Ему давно никто медленно не наливал». Я подумал про Марка. Про отца. Про себя.

— Пересаживайтесь, — сказал старик, — если хотите. Что вы там один в углу. Я всё равно в окно смотрю, а в окне сегодня ничего интересного — дождь собирается. С живым человеком поинтереснее будет.

И я пересел. Сам не знаю почему — я, который весь год

избегал разговоров, прятался в толпе, культивировал вид человека, к которому не подойти, — вдруг взял свой дешёвый кофе и пересел к незнакомому старику. Может, потому что дома был невыносимо, а он был воплощением того, чего дома не было, — покоя. А может, потому что во мне уже сработало то февральское «хватит»: хватит бегать от людей, хватит прятаться. Живой человек предложил посидеть — я и сел.

Его звали Николай Андреевич. Он представился просто, по имени-отчеству, протянул большую тёплую руку, и рукопожатие у него было такое — крепкое, но не давящее, как у людей, которым нечего доказывать силой. Я тоже назвался. И мы разговорились.

Точнее — разговорился я. А он слушал. Вот что я запомнил из первого нашего разговора: как он умел слушать. Я к тому времени привык, что взрослые, услышав тебя, немедленно кидаются учить, исправлять, советовать, приводить в пример себя, — отец, мать, Марк, преподаватели, все они слушали меня только для того, чтобы дождаться паузы и вставить своё. А Николай Андреевич слушал иначе. Он слушал так, будто ему правда интересно, будто мои слова для него — не повод для нравоучения, а сами по себе ценность. Он не перебивал. Не спешил советовать. Задавал вопросы — но такие, что от них хотелось говорить дальше, а не оправдываться. И под этим его вниманием — вот что странно — я вдруг стал говорить то, чего не говорил никому. Про уни-

верситет, который потерял. Про отца, с которым война. Про то, что не знаю, кто я и чего хочу. Про год, потраченный на чужие маршруты.

Он слушал. И только раз, когда я сказал что-то вроде «я целый год потратил впустую, ничего не понял, только всё испортил», — он мягко поправил:

— Впустую? — Он покачал головой. — Вы же вон сколько поняли. Что деньги пустые бывают. Что подражать — это не жить. Что судить чужое легче, чем строить своё. Что отца надо не воспитывать, а понимать. — Он загибал большие пальцы, перечисляя то, что я ему нарасказывал. — Это, молодой человек, не «впустую». Это вы за один год прошли то, на что у многих вся жизнь уходит, а у некоторых и жизни не хватает. Вы просто хотите, чтоб понимание сразу в счастье превращалось. А оно так не работает. Понимание — это семена. Их сначала в землю, потом ждать, потом ещё ждать. А вы посеяли и на другой день пришли за урожаем — и расстроились, что голая земля. Так рано. Всё у вас растёт, просто под землёй пока. Не видно.

Я слушал его — и во мне что-то отпускало. Не потому что он сказал что-то небывалое — половину этого я и сам к февралю надумал. А потому что он сказал это без требования. Как незнакомец в вагоне. Только незнакомец обронил свою правду и сошёл на станции, а этот старик сидел напротив, никуда не спешил, и его правда не жгла, а грела, как медленный кофе, о котором он говорил. Он не требовал от

меня стать кем-то. Не пугал, что время идёт. Не ставил диагнозов. Он просто видел меня — всего, с моим разгромленным годом, — и в этом его видении не было ни осуждения, ни жалости, а было что-то, чему я тогда не знал названия и что позже назову для себя принятием. Он принимал меня таким, каким я к нему пересел, — потерянным, навравшим, разругавшимся с отцом, — и от этого принятия мне впервые за год стало не стыдно быть собой.

Вот тогда я и понял — не сразу, а обдумывая потом, — в чём разница между всеми, кто меня «наставлял» за год, и этим стариком. Все они хотели меня изменить. Отец — чтоб я стал инженером. Мать — чтоб я был при деле и в безопасности. Марк — чтоб я стал его человеком. Даже незнакомец в вагоне, при всей его правоте, — подтолкнул меня к выходу, то есть хотел изменить моё поведение. А Николай Андреевич не хотел меня менять. Он просто со мной сидел. Внимательно. Медленно. И это оказалось сильнее любого совета. Потому что совет говорит человеку: ты неправильный, стань правильным. А внимание говорит: ты уже есть, и ты интересен, и я тебя вижу. И вот от этого «я тебя вижу» человек меняется куда вернее, чем от тысячи советов, — меняется сам, изнутри, без принуждения, как растёт то, что посеяно, когда его не дёргают за ростки.

Мудрость, понял я потом, — это не когда человек знает ответы. Ответов Николай Андреевич мне не дал ни одного, я специально потом вспоминал — ни единого готового от-

вета на мои вопросы «кем быть» и «как жить» он не выдал. Мудрость — это когда человек умеет внимательно быть рядом. Слушать медленно. Наливать медленно. Видеть в тебе не проект для исправления, а живого человека, которому просто давно никто не наливал медленно. Вот и вся мудрость. Она не в голове. Она во внимании.

Мы просидели, наверное, часа два. За окном действительно собрался и пошёл дождь — мартовский, косой, — а мы сидели в тепле, за медленным чаем и медленным кофе, и говорили. Точнее, говорил всё больше он под конец — начал рассказывать про себя, но по чуть-чуть, как приоткрывают дверь; я узнал только, что он один, что жена умерла несколько лет назад, что он ходит сюда каждое утро, потому что дома «слишком тихо, а тут люди», и что раньше он работал — но кем, в тот раз не сказал, отложил, как откладывают самое интересное. Я не выпытывал. Я к тому времени уже почувствовал: с этим человеком не надо спешить, он весь про медленное, и торопить его — всё равно что пить кофе залпом, только будоражить, а не согреться.

Когда я собрался уходить — дождь не кончался, но надо было домой, — он сказал:

— Заходите ещё, Артём. Я тут каждое утро. Часов до одиннадцати. Потом иду по своим стариновским делам — в аптеку, в парк, кормить голубей, всё как положено. — Он усмехнулся. — Но до одиннадцати я тут. Если будет тошно — заходите. Со стариком посидеть иногда полезно. Мы, ста-

рики, знаете чем хороши? Нам уже некуда спешить и незачем врать. Всё, что мог, я в жизни уже проврал и отбоялся. Теперь только правда осталась да чай. Немного, а хватает.

Я вышел под дождь. Шёл домой пешком, промок насквозь, и мне было хорошо — тем тихим, наполненным хорошо, которого я не знал весь год. Я познакомился с живым человеком. Первым за очень долгое время по-настоящему живым человеком, который ничего от меня не хотел, кроме как посидеть за медленным чаем. И, промокая под мартовским дождём, я вдруг понял, что весь год искал не профессию, не смысл, не ответ на вопрос «как жить». Я искал вот это. Чтобы кто-то медленно налил. Чтобы кто-то увидел. Чтобы кто-то был рядом внимательно, без требования стать другим.

Дома отец не заметил, что я вернулся, — как обычно. Мать всполошилась, что промок, погнала переодеваться, налила чаю. Я пил его медленно — впервые в жизни медленно, как учил старик, — и он грел, а не будоражил. Мать смотрела на меня удивлённо: я был другой в тот вечер, тише, теплее, и она это почувствовала, хоть и не поняла отчего.

Я не рассказал ей про Николая Андреевича. Оставил при себе. Не из скрытности — а потому что были вещи, которые хотелось не расплескать. Он стал моей тайной кофейней, моим тихим углом в разгромленном году. И я знал, что пойду туда снова. И снова. И что этот белоголовый старик, который умеет медленно наливать и видеть, сыграет в моей жиз-

ни роль куда большую, чем сам мог предположить.

Так в моей жизни появился первый живой человек. За ним появятся другие. Но он был первым — и, как всё первое, самым важным.

## **Глава 19. Лиза**

Про то, как я встретил Лизу, я потом много раз пытался рассказать красиво — себе, ей, воображаемым слушателям, — и каждый раз ничего не выходило, потому что красиво не было. Было буднично до обидного. В жизни ведь как: самое важное входит без стука, в стоптанных ботинках, в самый неподходящий момент, и ты даже не оборачиваешься, потому что откуда тебе знать, что вошло именно оно. Красоту мы приделываем задним числом, когда уже понятно, что это было важное. А в момент — просто девушка. Просто очередь. Просто пролитый кофе.

Да, всё началось с пролитого кофе — банальнее не придумаешь, я потом сам стыдился этого сюжета, до того он был затасканный, годный разве что для дешёвых фильмов, которые я презирал. Но жизнь не стесняется штампов. Жизнь вообще не читала книжек про то, как надо, и лепит из штампов, не краснея.

Было это в той же кофейне на углу, недели через две после знакомства с Николаем Андреевичем. Я стал заходить туда часто — по утрам, когда старик был там, а иногда и просто так, в другое время, потому что место стало для меня своим,

обжитым, единственным своим местом в городе, если честно. В тот раз Николая Андреевича не было — было уже за полдень, он к этому часу уходил кормить голубей. Я стоял в очереди за кофе, задумавшись о чём-то своём, и не заметил, как передо мной девушка, забирая свой стакан, обернулась, — и мы столкнулись. Не сильно. Но её кофе плеснул — часть на неё, часть на меня, немного на пол.

— Ой, — сказала она. И засмеялась. Вот это я запомнил — что она не разозлилась, не ойкнула испуганно, а засмеялась, будто пролитый кофе был не досадной неприятностью, а маленьким забавным происшествием. — Простите. Я всегда так. Хожу и на людей натыкаюсь. Мама говорит, я в облаках.

Я, конечно, тут же начал извиняться сам — привычно, скованно, с этим своим вечным чувством вины неизвестно за что, — полез за салфетками, засуетился. А она стояла и смотрела на меня, и в её взгляде было что-то, отчего я засуетился ещё больше: любопытство. Прямое, открытое, без всякой той защитной настороженности, с какой обычно смотрят люди друг на друга в городе. Она смотрела на меня так, как дети смотрят, — с непосредственным интересом, будто ей правда интересно, кто это перед ней, а не «свой-чужой, опасен-безопасен».

— Да не суетитесь вы, — сказала она, забирая у меня салфетки. — Подумаешь, кофе. Кофе — это же не кровь. Отстирается.

«Кофе — это не кровь». Я запомнил эту фразу. Позже я пойму, что вся Лиза была в этой фразе, — эта её манера уменьшать драму, снимать напряжение, переводить катастрофу в пустяк. Только гораздо позже я пойму и обратную сторону: что человек, который всё превращает в пустяк, часто делает это, потому что где-то внутри у него есть что-то настолько большое и страшное, что рядом с ним и правда всё остальное — пустяк. Но это потом. А тогда я просто увидел девушку, которая смеётся над пролитым кофе, и мне стало легко.

Она была не красавица — в том глянцево-м смысле, в каком красивы были девушки в баре Марка, запрокидывающие голову при смехе. Она была другое. Живая. Вот первое слово, которое приходило про неё, — живая. Худенькая, невысокая, с растрёпанными волосами, которые она явно не укладывала специально, а они сами так лежали, с руками, испачканными чем-то — я потом узнал, краской, у неё вечно были руки в краске, она их отмывала, а под ногтями всё равно оставалось, и я это полюбил, эти вечно недоотмытые руки художницы. Одета была странно — не модно, а как-то по-своему, с вещами, которые не сочетались по правилам, но на ней почему-то сочетались, потому что она их носила без оглядки на правила. И глаза — вот глаза я запомнил сразу: тёмные, быстрые, слишком живые для города, где все привыкли гасить в себе жизнь, чтобы не выделяться.

Мы взяли по новому кофе — я предложил купить ей вза-

мен пролитого, она согласилась, но с условием, что тогда она покупает мне, потому что «мы же оба виноваты, по-честному». И сели. Просто так. За один столик. Двое незнакомых людей, столкнувшихся в очереди, — сели и стали разговаривать, и это было так естественно, будто мы условились заранее.

Её звали Лиза. Ей было двадцать — на год с небольшим старше меня, и это чувствовалось: не возрастом, а какой-то большей укоренённостью в жизни, будто она уже знала про себя что-то, чего я про себя ещё не знал. Она училась — на реставратора, в художественном, что-то связанное с восстановлением старых картин, икон, фресок. Я слушал, как она про это рассказывает, — и вот тут случилось то, отчего, наверное, всё и завертелось. Она заговорила о своём деле, и её лицо переменилось. Оно загорелось. Тем самым огнём, который я весь год искал и не находил, — огнём человека, который любит то, что делает. Я никогда не видел, чтобы кто-то так говорил о работе. Отец говорил о работе устало. Даша — деловито. Марк — про деньги. А эта девушка говорила о реставрации старых картин так, будто рассказывала о живом любимом существе.

— Понимаешь, — говорила она (мы уже перешли на «ты», как-то само собой), — это же самое удивительное. Картина триста лет. Её писал человек, которого давно нет, который жил в другом мире, думал по-другому, любил, боялся, — и вот он взял и оставил это. На холсте. А потом триста лет —

время, сырость, копоть, дураки-реставраторы до меня, которые залезали и портили, лак пожелтел, краска осыпалась, — и картина почти умерла. Её почти не видно. И вот приношу я её к себе. И начинаю — по миллиметру. Снимаю копоть, старый лак, укрепляю осыпи. Медленно-медленно. И картина начинает проступать. Оживать. Цвета, которых триста лет никто не видел, — вдруг вот они. И ты как будто... — Она искала слово, глаза горели. — Как будто возвращаешь человека. Того, кто умер триста лет назад. На минуту делаешь его снова живым. Понимаешь?

Я понимал. Господи, как я понимал. Она говорила про реставрацию картин — а мне слышалось про всё сразу. Про отца, который «почти не виден» под двадцатью шестью годами копоты. Про Николая Андреевича, который умеет медленно снимать с человека копоть внимательным чаем. Про то, что я весь год пытался разглядеть настоящее под наносным — в людях, в себе, — только у меня не выходило, я лез грубо и всё портил, как «дураки-реставраторы до неё». А она умела медленно, по миллиметру, возвращать проступающее. Она занималась ровно тем, чего не умел я, — бережно возвращала живое из-под мёртвого.

— А почему именно старое? — спросил я. — Почему не рисовать своё, новое?

И вот тут — я заметил — её лицо на секунду дрогнуло. Огонь чуть притух. Она отвела глаза.

— Не умею я своё, — сказала она, и в голосе появилось

что-то другое, тише, надтреснутое. — Пробовала. Не получается. — Она усмехнулась, но невесело. — Реставрировать чужое — это я могу. Возвращать чужое живое — пожалуй-ста, хоть весь день. А своё создать — нет. Как будто во мне для чужого место есть, а для своего — нет. — Она помолчала и добавила совсем тихо: — Иногда мне кажется, что я потому и пошла в реставраторы, что своего сказать нечего, а с чужим возиться — легче. Прячусь я в чужих картинах, вот что. Красиво прячусь, но прячусь.

Я замер. Потому что она только что описала — про себя, про свои картины — ровно то, что я весь год делал со своей жизнью. Прятался в чужих. Я в чужих жизнях — судил их, проживал в метро, подражал Марку, — она в чужих картинах. Я не умел построить свою жизнь — она не умела создать свою картину. Мы оба были мастера чужого и трусы перед своим. Двое, которые прячутся, — один в чужих судьбах, другая в чужих холстах, — столкнулись над пролитым кофе, узнали друг друга мгновенно, ещё не понимая, что узнали.

Вот, наверное, почему всё завертелось так быстро и так сильно. Мы не влюбились в тот день — до влюблённости было ещё далеко, влюблённость придёт позже, постепенно, как проступает под лаком картина. Но в тот день произошло что-то важнее первого влечения. Мы узнали друг в друге своё. Свою трещину. Она сказала «прячусь в чужих картинах» — и я понял, что нашёл человека с той же трещиной, что и у меня, только по-своему, красиво, по-художнически трещину

носящего. И от этого узнавания стало и радостно, и страшно. Радостно — потому что я больше не один такой. Страшно — потому что если она такая же, как я, то она меня не спасёт, а я не спасу её, потому что двое прячущихся не могут вывести друг друга на свет, они только уютнее прячутся вдвоём.

Но это я пойму потом. А тогда я просто сидел напротив живой девушки с недоотмытыми от краски руками, которая умела смеяться над пролитым кофе и загораться от разговора о трёхсотлетних картинах, и мне не хотелось, чтобы этот разговор кончился. Впервые за год мне было с человеком не скованно, не настороженно, не с бронёй, — а легко и открыто, будто мы знакомы сто лет. Мы просидели до вечера. Кофейня начала закрываться, нас вежливо попросили, мы вышли — и стояли ещё на улице, на весеннем уже почти воздухе, не в силах разойтись, как это бывает, когда разговор ещё не окончен, а место кончилось.

— Дай телефон, — сказала она просто, без всякого кокетства, без игр, которые я видел у девушек Марка. — Я тебе напишу. Ты интересный. С тобой можно молчать и говорить одновременно, это редко.

«С тобой можно молчать и говорить одновременно». Я записал потом эту фразу в заметки — впервые за долгое время открыл заметки не с болью, а с радостью. Она увидела во мне то, чего никто не видел, — не растерянность, не трусость, не «пока никто», а вот это: человека, с которым можно молчать и говорить. Она отреставрировала меня одной фразой

— сняла копоть, под которой проступил кто-то, кем я, оказывается, был, но сам не знал.

Мы обменялись контактами. Разошлись. Я шёл домой пешком через весь город — и не замечал ни города, ни расстояния, потому что внутри у меня впервые за год играла не тревога, а что-то светлое, лёгкое, почти забытое. Я думал о ней. О её руках в краске. О её смехе над кофе. О «прячусь в чужих картинах». О том, как загоралось её лицо и как оно дрогнуло, когда она сказала про своё, которого «нет».

Дома мать сразу заметила — у неё радар на такое.

— Ты чего сияешь? — спросила она с осторожной надеждой. — Случилось что хорошее?

— Нормально, — сказал я. Но в этот раз «нормально» прозвучало совсем иначе, чем весь год, — не как затычка, а как счастливая ложь человека, у которого случилось хорошее, но который не готов ещё делиться, боится расплескать.

Мать не поверила «нормальному» — но и не полезла, только улыбнулась своим мыслям и пошла на кухню, чуть повеселевшая: она давно не видела меня сияющим и, наверное, обрадовалась любой причине.

Ночью я долго не спал. Смотрел на трещину в потолке — но впервые смотрел на неё не с тоской, а почти нежно. Потому что днём я встретил человека, для которого трещина — не беда, а начало работы. Который умеет любить треснувшее, осыпавшееся, почти умершее — и возвращать его к жизни. И я подумал: может, и меня можно. Может, кто-то

способен снять с меня годовую копоть по миллиметру, медленно, бережно, — и я проступлю. Настоящий. Тот, кем я был написан когда-то, до всех прогулов, лжи и чужих маршрутов.

Я тогда не знал ещё главного правила реставрации, которое Лиза сама мне позже расскажет и которое окажется приговором нашей истории: реставратор может вернуть к жизни только чужую картину. Свою — не может. И спасти другого человека тоже нельзя. Можно только быть рядом, пока он спасает себя сам. А мы оба хотели, чтобы нас спасли. Оба искали в другом реставратора для себя. И потому наша история, такая светлая в начале, была обречена — но обречённость эта скрывалась глубоко под лаком, и увидеть её в тот весенний вечер было невозможно, да и не нужно.

Важное вошло без стука. В стоптанных ботинках, с пролитым кофе, с руками в краске. И я даже не обернулся вовремя — обернулся, только когда оно уже село напротив и засмеялось. Так всегда и бывает с важным. Оно не предупреждает. Оно просто садится напротив и говорит: «Кофе — это не кровь. Отстирается».

## **Глава 20. Мастерская**

Она написала на следующий же день. Не выдерживала пауз, не играла в «продержусь три дня, чтоб не показаться навязчивой», — всё это было не про неё. Написала просто: «Привет, реставратор пролитого кофе. Приходи посмотреть,

где я прячусь. Покажу свою нору с чужими картинами». И адрес.

Нора оказалась мастерской — точнее, углом в большой мастерской, которую делили несколько человек с их художественного. Это было полуподвальное помещение в старом доме в центре, из тех, что чудом уцелели среди новостроя, — с высокими окнами под самым потолком, откуда свет падал косо, столбами, в которых плавала пыль и запах, который я запомнил навсегда: смесь скипидара, лака, старого дерева, краски и ещё чего-то неуловимого, что я про себя называл запахом времени. Так, наверное, пахнут места, где возятся с вечностью.

Лиза встретила меня в фартуке, заляпанном так, что первоначальный цвет угадать было невозможно, с забранными кое-как волосами и с той же вчерашней открытой улыбкой, будто мы знакомы не сутки, а сто лет. Провела в свой угол. И вот там, в её углу, я впервые увидел, чем она живёт, — не в рассказе за кофе, а вживую, и это оказалось совсем другое, чем я себе представлял.

На мольберте стояла картина. Старая — я это увидел сразу, хотя ничего не понимал в живописи. Тёмная, потемневшая, потрескавшаяся. Женский портрет — но женщина на нём была едва различима, будто смотрела на тебя сквозь мутную коричневую воду. Половина холста была такой — тёмной, глухой, мёртвой. А другая половина — та, над которой Лиза уже поработала, — была живой. Там, где она сняла лак

и копоть, проступили цвета: бледное лицо, тёплый румянец, голубизна платья, свет в глазах. Граница проходила ровно посередине лица — одна половина мертва и коричнева, другая жива и светла. И этот контраст — живое и мёртвое на одном лице, разделённые линией Лизиной работы, — потряс меня сильнее, чем целая галерея.

— Вот, — сказала она тихо, встав рядом. — Смотри. Триста лет её никто не видел настоящей. Триста лет она была вот такая — коричневая, тусклая, «старая тёмная картина». А она — вон какая. — Лиза показала на расчищенную половину. — Румяная. Молодая. Смотрит. Я снимаю с неё эти триста лет — по чуть-чуть. И она возвращается. Понимаешь, я даже не знаю, кто она. Никто не знает. Имени нет. Художник неизвестен. Просто женщина, которую кто-то любил настолько, что заказал портрет. Жила, любила, умерла — всё исчезло. Осталась только она, на холсте. И вот я её возвращаю. На минутку. Из небытия.

Я стоял и смотрел на это разделённое лицо, и у меня комок стоял в горле, сам не знаю почему. Может, потому что я вдруг увидел в этом всё, что мучило меня весь год, — но увиденное не в виде мысли, а в виде живого образа. Вот человек. Вот его настоящее — живое, румяное, светлое. А вот копоть времени, наросшая сверху, — привычка, страх, чужие ожидания, лак несбывшегося. И под этой копотью настоящее почти умирает, его почти не видно, и все привыкают, что человек «вот такой — тусклый, старый», и никто уже

не помнит, что под спудом — румяная, живая, смотрящая. Отец под своей копотью. Мать под своей. Я под своей. Все мы — тёмные картины, забывшие, что под лаком.

— А почему нельзя всё сразу? — спросил я. — Раз — и снял весь лак?

— Убьёшь, — сказала Лиза просто. — Полезешь сразу, грубо, растворителем посильнее — снимешь вместе с лаком и саму краску. И всё. Умрёт окончательно, уже навсегда, не воскресить. С живым нельзя грубо. Только медленно. Слой за слоем. Пробиешь состав послабее — не берёт, посильнее — боишься, а вдруг возьмёт лишнее. И вот так, между «не берёт» и «боюсь пересолить», по миллиметру, часами, днями. Терпение — это в моём деле главное. Не талант. Терпение. Кто торопится — тот убивает.

«Кто торопится — тот убивает». Я вспомнил, как «торопясь», грубо, растворителем посильнее полез в отца с его гитарой — и снял вместе с копотью живое, ранил до кости, и теперь мы не разговариваем. Я торопился. Я хотел сразу — понять, исправить, вытащить на свет. А надо было по миллиметру. Терпеливо. Между «не берёт» и «боюсь пересолить». Лиза, сама того не зная, объяснила мне, что я сделал не так со всеми людьми за этот год: я торопился. Я лез грубо. Я убивал то, что хотел спасти.

Мы проговорили в мастерской весь день. Она работала — не отрываясь ради меня, а именно работала, склонившись над картиной с крохотным тампоном, снимая копоть милли-

метр за миллиметром, — а я сидел рядом, на колченогом табурете, смотрел и слушал. И вот тут, за работой, когда руки заняты, а глаза в холсте, она начала рассказывать о себе настоящее — то, чего не расскажешь, глядя в глаза. Я потом заметил, что все важные люди в моей жизни рассказывали главное именно так — не в лоб, а сбоку, за делом: мать у плиты, отец в дверях, Николай Андреевич глядя в окно, Лиза — над картиной. Правда любит, когда на неё не смотрят прямо. Как звёзды: их лучше видно боковым зрением.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.